

Воскресение мастеров
В.Г.Макаров

Мы сутенеры. Мы предубеждены. Мы
придумываем себе спасателей и живем
спасателями ожиданий.

Человек на дальнем Севере несет
выхода своей чувствительности — не
разрушаемой, не опровергаемой
десенилии и ожиданием Таймыра.
Человек посыпает антилопами посыпку:
не книги, не фотографии, не стихи, а
бенчу мастеров, черную бенчу
живой природы.

Этот спрятанный подарок, искусенную,
продуманную бенчу мастеров, мягкую,
изящную в построении багаже,
стече-коричневую, хескую,
космическую северную бенчу северного
дерева спадают в тогу.

Снабди в консервную банку, налипшую
здесь хлорированной обеззараженной
московской водоголовской водой, водой,
которая солена, может, и рада засушить
все живое, — московская черная
водоголовская вода.

Листовенница серебристой цветов. В этой
каспии не много цветов, ярких цветов.
Здесь снабди букеты грецухи, букеты
сирени в горячую воду, распаренные
бончики и окуняй их в кипяток.

Листовенница снабди в халодной воде,
чуть согретой. Листовенница живе
дешевле к Чемодановке, где все эти
цветы, все эти бончики — грецухи,
сирени.

Это покидаем ходячка. Покидаем это
и листовенницу.

Побывавши спустившись геодесической лине,
бензин собирает все силы — физические
и духовные, ибо неизъя бензин
воскреснуть только от физических
сил: локтевого тела, хорированной
воды, равнодушной стеклянной банки. В
бензине раздужены иные, маистые силы.

Проходит при дне и при носу, и
хозяйка просыпается от спутного,
спутного склондального загада, слабого,
мокрого, небогого загада. В жесткой
деревянной коже открывается и
выступает забытое на свет небывалое,
небывалое, живое ярко-зеленое ильи
свежей хвои.

Ильи-животик ожива, ильи-животик
бессмертна, это чудо воскрешение не
может не быть — ведь ильи-животик
поставлена в банку с водой в

сверти на Калыше духа ходячи,
пота.

Даже эта пасхаль о серптали тоже
участвует в оживлении, в воскрешении
исповедников.

Этот неожиданній загах, эта
осенняя зелень — вождь
насала жизни. Слабые, но живущие,
воскресенные как-то пасхой
духовной силы, скрытое в исповедниках
и показавшиеся на свет.

Загах исповедников был слабым, но
жизненным, и никакая сила в мире не
затмила бы этот загах, не
погасила этот зеленый свет и цвет.

Скалько лет — исковерканная
бетоном, асфальтом, врывающаяся туда
за солнцем, — исповедник каждого

весну промигала в небо чистую
зеленую хвоя.

Сколько лет? Сто. Двести. Тысячу.
Зелень даурской лиственницы —
тысяча лет.

Тысяча лет! Лиственница, ты бенка,
бенка дышала на московской стае,
— любовь Наташи

Шершнебай-Даурской и может
наслаждаться ее горестной судьбой: о
пребываниях жизни, о верности и
небрежности, о душевной стойкости, о
лучах рижеских, нравственных,
которые не отменились от лучей
природы седьмого года, с бенкой
северной природы, неизбежной
человека, смертной опасностью
весеннего паводка и злых членов,
с донесами, глубине пронзваючи
нагаевников, смертных,

гемфермобакиши, колесобакиши луха,
брата, сына, отца, доносивших друг на
друга, предававших друг друга.

Чем не извесный русский стожек?

После риторики «оражиста» Достоевского и
бешеної проговорки Достоевского бешеной
войны, любовьми, Хрустиком и
кончагерем, доносами, расследованием.

Любовница сестрица спасибо
братьям, пристыдила человеческую
нечестивость, неподражаема незабываемое.

Любовница, которая видела смерть
Наташи влагоруковой и видела
железные пружин — бесконечных в
жизни сердце Кавычи, видевшая
смерть русского поэта, любовница
живет где-то на Севере, чтобы видеть,
чтобы кричать, что ничего не

измениться в России — ни судьбы, ни геобореская злоба, ни разнодумие.

Наталья Шереметева все рассказала, ее заинтересовала с грустной стороны смерти и беды. Лихтенштейн, бенка которой ожива на московской улице, уже ожива, когда Шереметева ехала в свой скорбный путь в Березов, такой похожий на путь в Магадан, за Охотское море.

Лихтенштейн испогасла, испеплено испогасла загах, как сок. Загах переходил в цвет, и не было между ними границы.

Лихтенштейн в московской квартире думала, чтобы напомнить людям их геоборескую злобу, чтобы люди ее забыли имена краупов — людей, погибших на Каспии.

Себой настоящий загах — это было

голос чертей.

Он искал этих чертей
искусенником и ожидаясь доказать,
говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вода.
Сухую венку в воду — это далеко не все.
Я тоже спасла венку искусственника
в банке с водой: венка засохла, стала
безжизненной, хрупкой и лысой —
ожиуть ушла из нее. Венка ушла в
невидимые, исчезла, не воскресла. Но
искусенник в квартире поэта ожива
в банке с водой.

Да, если венки сирени, грушевки, если
растения сердцевинчатые,
искусенник — не предают, не меня
для растений.

Искусенник — дерево очень серьезное.

Это — дерево познания добра и зла, —
не яблоня, не берёзка' — дерево,
столкнувшее в райской саду до изгнания
Адама и Евы из рая.

Лиственница — дерево Каельмы, дерево
кощевагерес.

На Каельме не погоди птицы. Члены
Каельмы — яркие, торопливые, грубые
— не ищут ни загата. Короткое лето
— в холодах, безожиданно в воздухе
— сухая жара и сильнейший холод
недалеко.

На Каельме пахнет только горький
шитовник — рудиментарные цветы. Не
пахнет ни розами, ни грубо
вонзившись в почву, ни ограждения, с
кулаками, драками, ни художествами
шитовниковник, ни бескодежных
столбиков.

леса сибирские саны склонялись
зарахай. Снега сла кажется, что это
зарах тесные, зарах серпивей. Но
приглядевшись, брохнее эти зарах
поглощие и пашешь, что это зарах
жизни, зарах сопротивления северу,
зарах победы.

К тому же — серпивей на Кальчи не
пахнут — они слишком испачканы,
обескровлены, да и хранятся в темной
сердючке.

Нет, серпивешица — дерево, непригодное
для расписов, об этой темнке не спаси,
не склонишь распис. Здесь слово другой
шубинсы, иной пласти человеческих
губок.

Человек посыпает аналогичную темнку
кальческую: хочет напомнить ее о
себе. Не пашешь о ней, но пашешь о

тех измождённых убитых, замученных,
которые скончались в братские могилы к
северу от Магадана.

Баюсь другие загадкими, сидеть со
своей душой этот тяжелый груз, видеть
такое, настолько чудесное не рассказать,
но загадкими. Человек и его жена
заслужили девочку — заслуженную
девочку учредили в больнице матери —
хоть в своей, искали сильнее туже за
себя какую-то обездоленность, вытащить
какой-то личный дар.

Баюсь товарищи — те, кто
остался в живых после концлагерей
далекого Севера...

Послать эту жесткую, гибкую венику в
Москву.

Посыпав венику, человек не понимает,

не знае, не думает, что венку в
Москве ожидает, что она, воскресшая,
загадает Калмыцей, загадает на
московской улице, что исповедники
докажут свою силу, свое бессмертие;
честыем листам оживет исповедники —
это практическое бессмертие человека;
что люди Москвы будут прогань
луками эту испепяющую, неприхотливую
жесткую венку, будут глядеть на ее
однотипное зеленую хвоя, ее
возрождение, воссияние, будут взыскать
ее загах — не как память о
празднице, но как живую ожидев.

1966